



Церковное искусство — автономно¹⁾.

Мм. Гг. .

Мы приступаемъ съ Вами къ изученію Церковной Археологии. Первый вопросъ, который долженъ занять наше вниманіе—это вопросъ о *содержаніи* нашей дисциплины, вопросъ о томъ, какие предметы и какихъ эпохъ должны подлежать нашему вѣданію?

На первый вопросъ—о предметахъ науки—ученые отвѣ чаются одинаково. Церковная археология изучаетъ предметы или всю обстановку христіанского храма, начиная съ самыхъ стѣнъ храма и кончая всѣмъ тѣмъ, что необходимо для совершенія христіанского богослуженія, будеть-ли эта необходимость вызвана дѣйствительными практическими нуждами, или же она обусловлена скорѣе личными запросами совершителей богослуженія, которые могутъ ввести въ литургической обиходъ многое такое, что имѣетъ значеніе только красивой бездѣлушки, декорации.

Не такъ обстоитъ дѣло со вторымъ вопросомъ: какими историческими рамками или периодами ограничиваются эти предметы?

Я не буду утомлять Вашего вниманія перечисленіемъ всѣхъ мнѣній на этотъ счетъ, укажу лишь наиболѣе характерныя.

Видный ученый Августі ограличивалъ нашу дисциплину первыми двѣнадцатью вѣкаами. Наоборотъ, Розенкранцъ и Пиперь раздвигали эти рамки до XVI вѣка. Съ другой стороны, Валькъ требовалъ изучать только три первые вѣка христіанского искусства, Бингамъ—семь первыхъ вѣковъ и т. д.

¹⁾ Вступительная лекція въ Московскомъ Училищѣ Живописи, Ваянія и Зодчества въ 1916 г.

Съ такими ограниченіями хронологического объема нашей науки мы согласиться не можемъ. На самомъ дѣлѣ, возьмемъ ли мы съ Вами какую-нибудь глиняную лампочку изъ катакомбъ, или обратимся къ помпезному паникалиу Петровской эпохи, въ обоихъ случаяхъ предъ нами одинъ предметъ: вещь, служившая для освѣщенія богослужебного собрания. Всѧ разница между катакомбной лютерией и паникалиемъ будетъ только въ типологическихъ особенностяхъ, которыя выработались подъ влияніемъ обстановки и болѣшаго или менѣшаго вкуса мастера. Древній христіанинъ довольствовался маленькой чашечкой изъ глины, въ которую наливалъ масла и вставлялъ фитильекъ: въ XVIII вѣкѣ новый христіанинъ со-здавалъ роскошное, причудливой формы паникалио, которое все отдавало мотивами *барокко*. Ясно, конечно, что оба эти предмета потребуютъ отъ церковнаго археолога одного и того же метода изслѣдованія. Онъ долженъ будетъ описать форму, материалъ, декоративный элементъ, назначение и т. д.

Этотъ примѣръ вполнѣ достаточенъ, чтобы точно опредѣлить объемъ содержанія нашей науки. Мы съ Вами должны будемъ изучать материальную обстановку христіанскаго храма во всей ся полнотѣ, на протяженіи всей исторіи христіанскаго храма. Отъ нашего вниманія не ускользнетъ и мраморная решетка изъ катакомбнаго храмика, и только что сработанный въ мастерскихъ Оловянинщикова подсвѣчникъ.

Наша задача будетъ въ томъ, чтобы пересмотрѣть и изучить христіанскій храмъ, вмѣстѣ со всѣмъ, относящимся къ нему, чтобы видѣть, какъ и что нужно было для удовлетворенія литургическихъ нуждъ христіанства въ разныя эпохи.

Вы можете задать мнѣ вопросъ: по чѣмъ же въ такомъ случаѣ отличается *Церковная археология отъ Истории христіанского искусства?*

Вѣдь, Исторія христіанского искусства также имѣеть въ виду памятники церковнаго литургического быта: самый храмъ, его настѣнныя росписи, иконы и т. д.?

Разница есть и значительная. Историкъ христіанского искусства рассматриваетъ любой памятникъ съ точки зреенія, главнымъ образомъ, его художественной формы, его формального совершенства, опь дѣйствуетъ прежде всего, какъ эстетъ, который имѣеть въ виду отвѣтить на вопросъ о качественности известной мозаики, о степени ея реалистичности, свободы

выполнения художественного замысла. Для него интересенъ самъ рисунокъ, сочетанія цветовъ, перспектива и т. п. Онъ дѣйствуетъ, такъ сказать, на-глазъ, руководясь своимъ личнымъ вкусомъ и степенью художественной одаренности. Церковный археологъ не можетъ быть эстетомъ. У него совершенно иная задача, иные интересы, иные требования. Для него также имѣеть значеніе форма извѣстнаго предмета, но въ качествѣ опредѣленного звена эволюціи. Онъ постоянно сравниваетъ формы памятника одной эпохи съ формами предшествующими, смотритъ, насколько усовершенствовался предметъ, что новаго дать новый художникъ. Ему важно знать, чѣмъ, какими вліяніями обусловлена эта форма, почему, напр., западная христианская архитектура храма все время, на продолженіи многихъ вѣковъ, вращается въ области базилическаго принципа, тогда какъ, наоборотъ, востокъ, Россія принесли и культивируютъ циркульныя формы?

Но оставимъ философію и обратимся къ конкретному примѣру.

Вамъ, конечно, хорошо извѣстна древне-русская монументальная композиція Страшного Суда. Я попрошу Васъ припомнить одну интересную деталь. Въ правомъ нижнемъ углу возвѣдается на фантастической звѣрѣ страшный волосатый діаволъ. У него на колѣняхъ—жалкая съежившаяся фигурка Гуды, трясущимися руками ухватившаго мѣшочекъ съ деньгами.

Историкъ искусства разсматриваетъ эту деталь со стороны общаго соответствія всей композиціи картины. Для него, напр., важно—насколько красивымъ пятномъ выдѣляется на фонѣ охрянаго тѣла этотъ темный мазокъ. Какъ художникъ, онъ оцѣниваетъ характеръ каждой линіи, каждого красочнаго пятна.

Наоборотъ, археологъ задастся совсѣмъ инымъ. Для него важно, прежде всего, знать, откуда появилась эта деталь въ композиціи всего сюжета? Чѣмъ она была вызвана? И вотъ, опредѣливъ приблизительно точно хронологическую дату картины, онъ высказываетъ предположеніе, что иконописецъ въ данніемъ случаѣ былъ несамостоятеленъ, не могъ внести только отъ себя эту деталь, потому что творчество иконописца строго опредѣлено извѣстными церковными требованиями. Слѣдовательно, эта деталь заимствована имъ изъ церковной богословской литературы, которая разрабатывала схему Страшного

суда, данную въ Евангеліи. И путемъ анализа этой литературы, археологъ опредѣляеть, что, дѣйствительно, художникъ взялъ образъ Іуды съ мѣшкомъ у какого-нибудь церковнаго писателя.

Такимъ образомъ, выражаясь научно, историкъ христіанского искусства идетъ синтетически, разсматривая памятникъ въ его цѣломъ, какъ продуктъ художественного творчества. Тогда какъ археологъ дѣйствуетъ аналитически, расчленяя памятникъ на отдельныя части и задаваясь вопросомъ о происхожденіи каждой детали.

Мнѣ кажется, этихъ краткихъ замѣчаній достаточно для отвѣта на вопросъ о содержаніи и методѣ науки Церковной археологии, которую мы съ Вами будемъ изучать.

Къ сказанному я добавлю одно, что намъ съ Вами придется иногда обращаться къ тому методу эстетической оцѣнки памятника, которымъ идетъ специально историкъ христіанского искусства.

Я не имѣю чести знать Васъ, гг.

Ваши интересы, Ваши запросы и требованія мнѣ неизвѣстны. Я не знаю, какъ Вы отнесетесь къ курсу Церковной археологии, и поэтому мнѣ хотѣлось бы заранѣе опредѣлить наши съ Вами отношенія.

Могутъ найтись скептики, которые спросятъ: зачѣмъ намъ Церковная археология? Что дастъ намъ—художникамъ, архитекторамъ—изученіе всего того старого хлама, который заброшенъ на церковные чердаки, размыщенъ пѣкоторыми чудаками въ роскошныхъ витринахъ музеевъ? Мы имѣемъ дѣло съ прекрасными созданіями тонкихъ художниковъ-эстетовъ, колотна и чертежи которыхъ даютъ вѣчные образцы художественной красоты: зачѣмъ намъ полуразрушенные остатки древнихъ фресокъ, облупившихся иконы или развалины базилики Херсонеса?

Постараюсь отвѣтить на этотъ вопросъ, который умѣстенъ особенно въ настоящее время.

Въ настоящую міровую войну кровью и огнемъ рѣшаются вопросы: быть или не быть намъ, нашей культурѣ духа, нашей этикѣ независимыми отъ чуждаго русскому сознанію оцѣниванія всего съ точки зренія одного грубаго права, признания возможности существовать только за сильнымъ материально.

Будущий историкъ русской мысли нашихъ дней, несомнѣнно, увидитъ связь между этой страшной борьбой народовъ и тѣмъ открытиемъ русской иконы, о которомъ такъ живо недавно говорилъ князь Е. И. Трубецкой. По его словамъ, «теперь на нашихъ глазахъ разрушается все то, что считалось до сихъ поръ иконою. Темная пятна счищаются. И въ самой золотой бронѣ окладовъ, несмотря на отчаянное сопротивленіе отечественного невѣжества, кое-гдѣ пробита брешь. Красота иконы уже открылась взору, но однако и тутъ мы всего чаще на полдорогѣ. Икона остается у насъ... предметомъ того поверхности эстетического любования, которое не проникаетъ въ ея духовный смыслъ. А между тѣмъ, въ ея линіяхъ и краскахъ мы имѣемъ красоту по преимуществу смысловую. Она прекрасны лишь, какъ прозрачное выраженіе духовнаго содержанія, которое въ нихъ воплощается».

Вы, гг., согласитесь со мною, что современникамъ недоступна ретроспекція ихъ времени. Мы не можемъ сказать, есть ли, дѣйствительно, и какая связь между современной войной и возрождениемъ интереса къ древне-русской иконѣ; намъ приходится отъ временной послѣдовательности этихъ двухъ фактовъ заключать къ послѣдовательности генетической.

Одно является безспорнымъ фактъ, это, что въ русскомъ обществѣ теперь совершается какой-то, пока еще замѣтный, процессъ, поворотъ къ цѣнностямъ русской культуры до—петровской эпохи, сознаніе, что у насъ ничего нѣтъ чужого, что мы теперь опустошены.

Оглядываясь назадъ, мы легко замѣчаемъ разницу между *прежде* и *теперь*. Это дѣленіе настолько рѣзко, очевидно, что даже жалѣшь, почему его раньше не было, почему мы раньше были такъ досадно слѣпы, почему видѣли свѣтъ тамъ, гдѣ его или не было, или онъ только мерцалъ, какъ ночникъ?

Теперь мы удивляемся нашей культурной бѣдности, нашему неумѣнью обходиться безъ вѣчныхъ учителей, которые все за насъ дѣлали, выдавая за свое наше роднос, собственное. Мы какъ-то привыкли съ XVIII вѣка на все смотрѣть чужими, въ переводѣ на народное слово—*нѣмецкими* глазами.

Церкви въ *Путинкахъ* и *Останкинъ* давно стоятъ. Быть можетъ, ежедневно мы видали ихъ стройныя формы: дальше не шли. И вѣсть случайно московскіе знакомые француза Виоле-ле-Дюка послали ему ихъ фотографіи. Тотъ объявилъ:

вотъ подлинная созданія русскаго архитектурнаго генія, въ которыхъ онъ раскрылся весь, вотъ—наиболѣе типичныя формы русскаго зодчества.

Восторги француза стѣснили развитіе нашей архитектуры, создали у насъ во второй половинѣ XIX вѣка эпоху «останковщины-путинковщины», хотя обѣ эти церкви совсѣмъ не такъ характерны для насъ, какъ это думалъ французъ, никогда не бывавшій въ Россіи.

Теперь не то. Война, какъ буранъ, сдернула съ нашихъ глазъ невидимое покрывало, лишила учителей, заставила осмотрѣться вокругъ и увидать многое, чего мы не замѣчали.

Развѣ, на самомъ дѣлѣ, не характерно, что тонкій изящный философъ выступаетъ публично и рѣшаетъ вопросъ о смыслѣ жизни въ древне-русской религіозной живописи? Пусть онъ не специалистъ, пусть онъ московскую луковицу на храмахъ объясняетъ не переносомъ принциповъ деревяннаго зодчества на каменное, а религіозно-эстетически: «жаромъ горятъ»—отзываются народъ о маковкахъ московскихъ церквей, «языкъ пламени»—хотятъ выразить зодчіе. Пусть въ ненатуральности животныхъ формъ онъ видитъ желаніе иконописца изобразить новую тварь, идеальную; пусть по своему понимаєтъ генезисъ христіанскихъ олицетвореній, пусть въ характерныхъ для ушаковской школы XVII вѣка росчеркахъ и копчикахъ облаковъ видитъ орлиные клювы и гадаєтъ обѣ одухотворенности облаковъ.

Все это неважно.

Важна попытка философа сказать и свое слово для рѣшенія вопроса, который задавалъ поэтъ:

«.... не знаю, что за нить

«Насъ вяжетъ съ древностью далекой и родной...

«Въ чёмъ сила тайная, владѣющая мною...»

Философъ рѣшилъ, что русская иконопись, которую всегда ставили ниже западной живописи, это—одно изъ величайшихъ мировыхъ сокровищъ: она выражаетъ нашъ, русскій отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ жизни.

Такъ, мы пробуждаемся.

Мы начинаемъ цѣнить свое, свое старое, что было подъ копотью, и на что, поэтому, намъ не могли указать иѣмцы. И оказывается, что это невидимое, неправильное, неискусное имѣетъ свою настоящую обаятельность, свою русскую цѣнность, что живо нашимъ русскимъ духомъ, передаетъ и выражаетъ

уское настроение, которое было такъ долго подмѣнено чужимъ апдничествомъ.

Такъ говорятъ философы.

Но что же говорить жизни?

Она также говоритъ о возрожденіи интереса къ древне-русскому искусству, къ самобытной русской культурѣ.

Развѣ Вамъ, господа, не приходилось видать, съ какимъ интересомъ публика самыхъ разныхъ общественныхъ положений, вкусы и привычки набрасывается на выставки Строгановского училища, где публике предлагается большой, нерѣдко очень посредственной работы, выборъ имитаций подъ русскую старину? Я недоумѣваю, почему всѣ эти поддѣлки подъ старинныя русскія парчевые издѣлія, подъ опашни и бички, низанныя фальшивымъ жемчугомъ и вовсе не самоцвѣтными камнями, а дешевыми стекляшками, расхватываются нашими дамами? Обрывки старинныхъ матерій, кусочки цвѣтной слюды, жемчужные серьги и серебряные пуговицы съ боярскихъ кафтановъ раскупаются съ прилавковъ антикваровъ *въ рядахъ*.

Я не говорю уже о записныхъ коллекціонерахъ, которыя скучаютъ старыя иконы, реставрируютъ ихъ и, какъ дорогія бездѣлушки, выставляютъ въ своихъ салонахъ.

Но обратимся къ Вашей прямой специальности.

Современная живопись, которую приходится видеть на выставкахъ молодыхъ художественныхъ силъ.

Эта живопись въ ея крайнихъ, съ академической точки зрѣнія, направлениихъ намъ хорошо известна.

Пусть она привыкшему любоваться васнецовскимъ жанромъ кажется безформенной, неэстетичной, отрицающей принципы картины, какъ они представляются въ академическомъ аспектѣ. Для меня важны ея послѣднія стремленія.

Новое направление живописи идетъ противъ академизма, который, говорятъ, лѣтаетъ картину цвѣтной фотографіей, пази-
дательной иллюстраціей. Выписанность, аккуратность кисти, точность красочныхъ пятенъ и т. д.—все это преститъ. Обращаются къ французскимъ импрессионистамъ, застыгаютъ на изученіи ихъ приемовъ наложенія красокъ, передачи свѣта. Протестуютъ противъ пропорцій, перспективы, обращаются свои творенія въ какія-то шарады, ребусы. Но, какъ это и должно быть, въ такой пощечинѣ общественному вкусу — не самостоя-

тельны: маякъ для нихъ—Пикассо. Надоѣдаетъ и «кубизмъ». Является *лучизмъ* съ своей теоріей воспирятія сущаго (Ларіоновъ), въ которой мы видимъ слишкомъ топорное, грубое толкованіе физическихъ принциповъ Тиндаля.

Здѣсь, повидимому, полное отрицаніе существа картины, загадка. «Лучистое построеніе улицы»—это полотно, на которое нанесены цветные линіи, пересѣкающіяся во всѣхъ направленихъ; одинаковый по фактурѣ «лучистый портретъ господиже №»—производить впечатлѣніе, будто художникъ зарисовалъ однѣ морщины съ лица натурщицы...

Но для меня, лично, интересна въ данномъ отношеніи одна симитоматичная въ современныхъ шатающихся художественной мысли и кисти черта: это—обращеніе за фактурой и тональностью красокъ къ древне-русской иконописной практикѣ.

На нѣкоторыхъ полотнахъ послѣдніхъ выставокъ бросалось въ глаза желаніе практиковать даже самый рисунокъ иконы, явно неправильный во многихъ случаяхъ: копируются съ иконы формы животнаго царства, построеніе пейзажа и пр. Художникъ-неакадемистъ изучаетъ древне-русскія иконы, совершає побѣздки въ старые монастыри, пріобрѣтаетъ дорогія археологическія изданія, и такъ безъ конца.

Результаты такого увлечения очевидно и для непосвѣщенаго взгляда. На многихъ полотнахъ не разъ приходилось встрѣтить созданія, которыя прямо поражаютъ совершенствомъ чисто-иконной техники, начиная съ особенно рельефного, смѣлаго, въ стилѣ раннихъ новгородскихъ иконописцевъ, рисунка, поражающаго непривычный взглядъ какъ-будто отсутствіемъ знакомства съ пропорціями, перспективой, патурой въ широкомъ смыслѣ слова, и кончая самыми красками, которыя варьируются иногда явно въ тонахъ охры...

Правда, во многихъ случаяхъ приходится совершиенно отрицательно относиться къ нѣкоторымъ такимъ картинамъ, въ которыхъ авторы пользуются техникой и красками иконы для сюжетовъ, коробящихъ нравственное чувство.

Позвольте миѣ сдѣлать небольшое отступленіе и коснуться вопроса о разницѣ между картиной и иконой.

Съ понятіемъ *иконы* у насъ соединяется комплексъ опредѣленныхъ чувствованій, переживаній, опредѣленное настроеніе, которое какимъ-то непонятнымъ способомъ вложено въ самыя краски, доску, манеру изображать предметы. Охряный ликъ,

общее монументальное построение композиций, величавая пышность, манерность плана,—все это понятно только для иконы и въ иконѣ, это какъ бы своеобразный языкъ, сумма красочныхъ звуковъ, которыми душа взирающаго на икону настраивается молитвенно, отрѣшается отъ всего земного, плотскаго, грѣховнаго, возводится «горѣ». Иконописецъ, будто, свой религіозный міръ, свое молитвенное настроение вкладываетъ въ самыя краски, и взирающій заражается сроднымъ настроениемъ. Въ этомъ *зараженіи*—сущность понятія «молиться на икону».

Это первый моментъ.

Грубая протестантская мысль, обвиняющая *православіе* въ *обоженіи* иконы, имѣть дѣло, возражаетъ именно противъ этого момента. Она совершенно упускаетъ изъ виду второй моментъ, неразрывно связанный съ этимъ первымъ—мою умную, достигаемую напряженіемъ всѣхъ силъ, сосредоточеніемъ всего моего «я» на одномъ, близость субъективную къ тому, кто изображенъ на иконѣ. Ясно, конечно, что въ этомъ второмъ моментѣ происходитъ уже *отрицаніе* отъ видимой красочной плоскости, которая находится при молитвѣ предъ нашими глазами. Она уже не нужна, потому что область физическихъ достижений кончается, замѣняется *вѣдѣніемъ духовнымъ*, которое имѣть образъ предъ собою отнюдь не реалистической формы, а какъ бы какое-то *нѣчто, что-то*, схему, именно духовную сущность, субстратъ чего отрицаешь всякая формальная представлѣнія, принципы *натуры*.

Много разъ задавался вопросъ: почему такъ условна, схематична древне-русская иконопись? Почему такъ не натурально изображались персонажи, аксессуары и вообще все «*доличное*»? Почему тамъ *рай* символизовался двумя-тремя карликовыми деревцами изъ породы кустарниковъ, почему не *нарисованъ* *правильно* конь св. влкм. Георгія Побѣдоносца, поражающей своей непропорціонально раздутой шеей и слишкомъ миниатюрной головой?

Эти вопросы особенно понятны, если имѣть въ виду, что древне-русские иконописцы въ большинствѣ были замѣчательными мастерами, съ вѣрнымъ глазомъ и опытной рукой, и некоторые изъ нихъ были «извѣчны» и *парсунному письму*, отъ которого требовалась прежде всего правильность рисунка, полное сходство съ оригиналомъ. Ссылка на анахронистич-

скую традицію, отраженіе эллинистического принципа и догматической трафаретъ еще не решаетъ вопроса.

Отвѣтъ на это возможенъ и понять только для того, кто самъ имѣть мистической опытъ, кому знакомо молитвенное *горячіе предѣлъ иконой*. Протестанту этого не понять, если онъ задастъ вопросъ—зачѣмъ на Руси существовали столь строгія правила для иконописца, на первый планъ выдвигавшія степень личнаго аскетизма, способность къ религіознымъ переживаніямъ, вѣриость соборному началу Церкви?

Въ то время говорили у настъ на Руси, что «франку» не написать иконы, онъ могъ быть превосходнымъ живописцемъ, могъ передать человѣческія страсти, быть, но онъ не могъ быть творцомъ *одухотворенной иконы*.

Только исходя изъ наличія у древне-русского иконописца глубокаго личнаго религіознаго опыта, пониманія назначенія и существа иконы, можно отвѣтить на поставленные вопросы о причинахъ условности, схематичности иконы.

Приступая къ написанію иконы, онъ зналъ, представляя себѣ процессъ моленія на икону, видѣть тѣ два момента, о которыхъ была рѣчь выше. Онъ понималъ, что сложетомъ своей иконы онъ долженъ доставить взирающему на нее не эстетическое любованіе, а нѣчто гораздо высшее, именно—средство для вызова въ себѣ отрѣщенія отъ всего земнаго, низменнаго, *натурало*, настроенія, для сосредоточенія всего себя на одномъ желаніи духовной близости къ тому, ликъ кого онъ пишетъ. Онъ понималъ, что въ процессѣ молитвы ся объектъ въ сознаніи молящагося условно-абстрактенъ, недоступенъ оцѣнкѣ понятіями *матеріи*. Это нѣчто неопредѣлимое физическими средствами, именно схематичное, въ чемъ ничего нѣтъ, но въ то-же время и все есть, все дано, чего, слѣдовательно, нельзѧ перевести обычнымъ способомъ на левкасъ. Это недоступно человѣку, въ силу его ограниченности и природной грѣховности. На этотъ образъ можно сдѣлать лишь намекъ, схему, которая будетъ понятна только тому, кто имѣеть личный духовный опытъ, чтобы своимъ духовнымъ окомъ зреТЬ того, чей намекъ данъ на иконѣ.

Древне-русский иконописецъ, принявший основные принципы своего творчества отъ византійскихъ мастеровъ, принялъ отъ нихъ и ту иконную схематичность, условность, о которой была рѣчь выше, принялъ въ томъ аспектъ, какой былъ тамъ.

А этимъ послѣднимъ было *опытное* пониманіе и знаніе самаго процесса моленія, именно второго момента, когда недоступнымъ простому опредѣленію способомъ иконный образъ абстрагируется въ схему, *намекъ*, духовно-созерцающее, что скорѣе *переживается*, чѣмъ зрится. Какъ таковой, этотъ образъ не можетъ имѣть опредѣленной формы, онъ *условно* лишь формаленъ. Отсюда, еслибы нужно было передать его графически или красками, то можно лишь *перечислить* схематически тѣ признаки, какіе мыслятся въ его содержаніи, чтобы въ конечномъ итогѣ отвѣтить не на вопросъ: что такое онъ?— а что *въ немъ есть?* Достаточно взглянуть на любую многоличную икону, особенно новгородского ранняго письма, чтобы согласиться съ тезисомъ: иконописецъ только *намекалъ* своей композиціей на извѣстное событие или богословско-философскую концепцію, но отнюдь не задавался цѣлью развернуть картину съ соблюдениемъ времени и пространства. Онъ даль все, всѣ признаки содержанія, но скомбинировалъ въ цѣломъ, которое отмѣчено не натуральностью, а условностью.

Такъ, древне-русскій иконописецъ былъ намѣренно условенъ въ компоновкѣ иконнаго сюжета. Онъ не заботился о натуральности, вѣрной передачѣ пропорцій и пространственныхъ отношеній потому, что хотѣлъ дать намекъ на умопостигаемый переживаемый сознаніемъ молящейся души образъ, который точно неопредѣлимъ, невыразимъ наглядно, въ которомъ стираются границы плановъ, пропорцій и пр.

Отсюда, мы въ правѣ сдѣлать заключеніе, что каждая иконная композиція должна быть *идеальна*, идеальна не въ смыслѣ совершенства формы, а въ отношеніи именно отрицанія реализма.

Можно пойти дальше.

Въ древне-русской иконописи частъ поражаетъ особенно нарушеніе *плана*, иконы не имѣютъ обычно перспективы. Мастеръ на небольшой площади развертывается нѣсколько событий, связанныхъ причинно временнымъ или идеальнымъ порядкомъ. съ какимъ-нибудь центральнымъ событиемъ. Такъ, напр., на иконѣ рожdestва Христова *страгановскаго* письма, изъ *Рахманиновскаго* собранія, въ алтарѣ зимняго храма Рогожскаго кладбища въ Москвѣ, XVII в., мы имѣемъ, въ качествѣ фокуса, изображеніе пр. Дѣвы, сидящей у яслей съ Младенцемъ; по сторонамъ и ниже этого клейма расположено изображеніе

событій, слѣдовавшихъ за рожденіемъ Спасителя, вплоть до убийства у алтаря Іакова, брата Господня. Разсматривая всю композицію, независимо отъ ея генезиса, съ точки зрењія обычныхъ требованій, предъявляемыхъ къ *картинѣ*, мы видимъ, что художникъ здѣсь спуталъ всѣ *планы*, посльдовательность клеймъ случайна, ничто не выдвинуто на первое мѣсто, чтобы подчеркнуть аксессуарность, смыслъ дополняющихъ деталей всего того, что *исторически* обусловлено было рожденіемъ Спасителя. Впечатлѣніе въ конечномъ результѣтъ таково, что мастеру нужно было *перечислить* всѣ написанные сюжеты, что онъ и сдѣлалъ, имѣя въ виду, что при той апперцептивной абстракціи образа, которая будетъ сдѣлана каждымъ молитвенно взирающимъ на композицію иконы Рождества Христова, отношения времени и пространства въ развитіи идеи событія явленія Спасителя на землѣ утеряются, остается одинъ идейный образъ, намекъ на то, какъ Спаситель родился и какая вражда земная встрѣтила Его.

Очевидно, при такой постановкѣ и при такомъ пониманіи центръ иконы, ея композиція въ изображеніи самого небожителя, близость къ которому будетъ переживать молящейся; осталъное—случайное добавленіе, его можетъ и не быть.

Но въ такомъ случаѣ является вопросъ: въ чёмъ же оправданіе многоголовой иконы, въ которой, на ряду съ небожителями, мы имѣемъ такие персонажи, какъ дьяволъ, въ образѣ пастуха искушающій Іосифа въ моментъ рожденія Спасителя отъ пр. Дѣвы, дѣвство Которой ему было поручено старцами? зачѣмъ иконописецъ въ этомъ случаѣ отошелъ отъ принципа абстрагированія иконы?

Отвѣтъ на это даютъ VI и VII Вселенскіе соборы, признающіе, что икона должна быть также *дидактична*.

Моихъ краткихъ замѣчаній достаточно, чтобы видѣть, въ чёмъ существо и назначеніе *иконы*.

Къ ней предъявляются требованія большія, чѣмъ къ обычной *картинѣ*; она не только произведеніе *художника*, но и психолога, обладающаго религіознымъ глубокимъ опытомъ, понимающаго процессъ *предстоянія иконы*.

Отсюда мы въ правѣ заключить обѣ *автономности* иконописи, какъ особаго *вида* художественнаго творчества, который не имѣеть себѣ оправданія на католическомъ западѣ, гдѣ стерта, не сознается грань между картиной и иконой.

Стерта именно потому, что не считается существенной интимно-субъективная близость къ Высшему, она замѣнена полнымъ представительствомъ духовенства, которое усвоило себѣ чисто-божественные функции вплоть до отпущенія будущихъ грѣховъ (титуль индулгенціі).

Икона, слѣдовательно, нужна при православно-восточномъ міросозерцаніи, гдѣ она служить необходимымъ средствомъ *напоминанія* объ умопредставляемомъ образѣ *маленія*. Въ этомъ ея существенное отличие отъ картины, *право* на нарушение нѣкоторыхъ изъ тѣхъ законовъ и принциповъ, которымъ обязанъ слѣдовать только художникъ. И если онъ будетъ руководствоваться при писаніи картины пріемами и особенностями иконной техники, стремясь превратить свое созданіе въ икону, копируя ся явные, съ художественной точки зрењія, недостатки, то этимъ будетъ нарушена автономность иконописи, искажена сущность *картины*, какъ воспроизведенія на полотнѣ натуры въ широкомъ смыслѣ слова. Но никогда не можетъ быть иконой, потому что ихъ среда различна. Икона создается не индивидомъ, а коллективомъ. Вотъ очень вѣрно замѣчаніе одного изъ авторитетныхъ знатоковъ древне-русской иконописи: «та недосягаемая пропикновенность и глубина религиознаго чувства, которая свѣтится въ старой иконѣ, объясняются тѣмъ, что ея формы родились и выковались въ нѣдрахъ народнаго духа, и никогда одинокому человѣку, будь онъ семи пядей во лбу, не поднять того, что подъ силу только творчеству народному».

Все это — элементарныя понятія. Но они постоянно нарушаются.

Почему?

Ясно, чего-то ищутъ... Но чего?

Очевидно, ищутъ подлинное, самобытное русское искусство, ищутъ понять его духъ, настроеніе, чтобы продолжить самобытныя черты нашего родного искусства, которое было заглушенено вотъ уже три вѣка...

Современная страшная война, война за жизнь, свободу требуетъ отъ насть возрожденія, возрожденія своей самобытности русского художественного творчества.

Но какъ это сдѣлать?

Копировать памятники, какъ это дѣластъ Строгановскіе училище? Нѣть, это не дѣло художника, а дѣло ремесленника.

Возрождение самого духа самобытного русского искусства, которое почти сплошь было церковно, служило главнымъ образомъ религиознымъ нуждамъ немудрого русского человѣка, возможно инымъ путемъ.

Вамъ, конечно, хорошо извѣстно, что, какъ это выяснилъ еще Ипполитъ Тэнъ въ своей «Philosophie de l'art», искусство каждого народа представляеть собою сложное цѣлое, въ которомъ чисто національныя черты, самобытныя традиціи и духъ перемѣшаны съ вліяніями со стороны сосѣднихъ художественныхъ культуръ, которая иногда такъ тѣсно, незамѣтно вплетаются въ самобытныя созданія національного генія, что поверхностному взгляду очень несложно выдѣлить такую самобытную основу. Обращаясь къ русскому искусству, мы должны подчеркнуть, что и оно также имѣеть въ себѣ много чужого, сторонняго, иноснаго, что иногда чисто вѣнчанымъ образомъ связано съ нашими исконными традиціями и идеалами. И если бы мы съ Вами, задавшись изучить самобытныя черты русского искусства, принялись только фотографировать извѣстные памятники, мы никогда не опредѣли бы, въ чемъ, въ какихъ формахъ, какими задачами обусловливается интимный характеръ нашего русского творчества, мы остались бы и никогда не сдвинулись бы съ чисто западного взгляда, что русское искусство, это также Византія, попавшая въ страну свѣтлоглазыхъ руссовъ. Подлинная, возвышенная, пебесно-возвышенная красота древне-русской иконописи для насъ была бы недоступна; мы не были бы въ силахъ попять, почему она такъ близка, понятна намъ, только намъ, но отнюдь не западнымъ людямъ. Подойдя къ собору Василия Блаженнаго въ Москвѣ, мы ушли бы отъ него безъ всякихъ внутренній удовлетвореній, съ усмѣшкой повторяя, что правъ быть французы Дарленкуръ, назвавъ его «огородомъ чудовищныхъ овощей». А между тѣмъ, его пестрые шатры, его непонятный на первый взглядъ планъ—это національное, русское созданіе, въ которомъ переданы черты нашего древняго хоромнаго строительства.

Что же нужно?

Нужно умѣть подойти къ памятнику, умѣть разобрать его составные части, нужно умѣть опредѣлить, что въ немъ дѣйствительно національно, что передаетъ русскій духъ, русское настроеніе.

Безъ этого, господа, вы всегда будете повторять ошибки тѣхъ, кто работаетъ подъ ІІусева или подъ Васнецова. Копировать, подражать—еще не значить творить... Самая посредственная, но самостоятельная, оригинальная работа для меня всегда цѣнѣе, выше первоклассной коці.

И па помошь тому, кто хочетъ знать самобытное русское искусство, кто хочетъ понимать его духъ, настроеніе—приходитъ наша наука, которая изучаетъ каждый памятникъ въ отношеніи его происхожденія, опредѣляясь, что въ немъ чуждаго нашему сознанію, въ чемъ онъ повторяется Византію, Западъ, и что нужно приписывать русскому художественному генію.

Вамъ, несомнѣнно, известна икона Троицы въ Сергиевской Лаврѣ письма знаменитаго Андрея Рублева. Самый опытный иконописецъ оцѣниваетъ это замѣчательное созданіе XV вѣка, какъ вполнѣ русское, полное традиціями древне-русской иконописи, произведеніе оригинальное, которое представляется шедевромъ русского искусства, который можетъ служить образцомъ.

Церковный археологъ этого не скажетъ.

Онъ осмотритъ нашу икону и заявитъ, что—да, техника, краски—это наше русское; но что касается situaciї сюжета, обработки деталей—эта икона произведеніе неоригинальное, потому—что въ этомъ отношеніи она очень близка, почти копируетъ приемы знаменитаго представителя Сіенской школы XIV вѣка Симоне Мартини, котораго такъ воспѣлъ Петрарка, поставившій его наряду съ Джотто.

— Бѣ вамъ, господа, молодымъ художественнымъ силамъ, я обращаюсь съ призывомъ работать надъ изученiemъ памятниковъ христіанского искусства, чтобы вы могли видѣть, понимать самобытность, характеръ, настроеніе русского искусства. Поддержите своимъ творчествомъ тотъ интересъ къ родному искусству, который налицо предъ вами въ обществѣ.

И миѣ хочется думать, хочется надѣяться, что симптомы, о которыхъ я вамъ говорилъ, вызовутъ возрожденіе и расцвѣтъ нашего національнаго художественнаго творчества, накликавшіе это возрожденіе, какъ накликали мѣховыя отдылки лѣтнихъ костюмовъ эту холодную, но ясную и здоровую осень...

H. Протасовъ.